

# ЗАПИСКА ПУШКИНА О НАРОДНОМ ВОСПИТАНИИ

*Александр Цейтлин*

Читал ты моего „А. Шенье  
в темнице? Суди о нем, как  
езучт — по намерению.

(Из письма Пушкина к  
Вяземскому, июль 1825 года.)

**З**аписка Пушкина о народном воспитании, написанная им по распоряжению Николая I осенью 1826 года, представляет собою один из самых характерных и значительных документов той эпохи. Впервые после разгрома декабристского движения Пушкин делает в ней попытку сформулировать свои политические взгляды, установить свое отношение к победившей крепостнической диктатуре, заговорить с самодержавием на понятном для него и вместе с тем независимом языке.

Изучение этой замечательной страницы политической биографии Пушкина заставляет, к сожалению, желать многого. Несмотря на то, что Запиской о народном воспитании интересовались П. В. Анненков, М. И. Сухомлинов, В. И. Стоюнин, В. В. Водовозов, Н. О. Лернер, Н. К. Козьмин,<sup>1</sup> многие стороны этого документа еще продолжают ждать исследования. Сямым существенным недостатком, ярко проявившимся в изучении Записки, является интерпретация ее как „измены“ Пушкина своим прежним политическим воззрениям, доходящая подчас до прямого обречения его в „рenegатстве“. На этот путь стал уже П. В. Анненков, усмотревший центр тяжести Записки в отказе Пушкина от подпольного распространения стихов, в призыве „строжайшей кары“ на распространителей „возмутительных рукописей“, то-есть в открытой измене поэта своему недавнему „вольнолюбю“. „Уступку“ самодержавию, „подлаживание“ под его требования видел в ряде пунктов Записки В. В. Водовозов, который считал возможным наделить ее краткой, но более чем красноречивой оценкой: „благонамеренное полличание“. Еще более решительно и беспалляционно эту точку зрения защищал Н. О. Лернер, утверждавший, что в своей Записке Пушкин „с чрезвычайной легкостью и уступчивостью предложил Николаю проект реформы воспита-

<sup>1</sup> См. П. В. Анненков. Материалы для биографии Пушкина, СПб, 1873, стр. 72; М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, том II, СПб, 1889; В. В. Водовозов. Общественно-политические воззрения Пушкина, статья в собрании сочинений Пушкина, изд. Брокгауз-Эфрон, том VI; Н. О. Лернер. Пушкин в Москве после ссылки, там же, том III; комментарии Н. К. Козьмина к Записке о народном воспитании, Сочинения Пушкина, изд. Академии Наук, т. IX, Л., 1928.

тельной системы — сообразно не прямым и самодовлеющим целям воспитания, а видам правительства“.

Это традиционное для дореволюционной Пушкинианы воззрение почти полностью сохранилось и в послеоктябрьские годы. В биографии поэта, изданной Пушкинским Домом, этот документ расценен как проявление духа „просвещенного консерватизма“, а известная исследовательница движения декабристов М. В. Нечкина считает Записку насыщенной компромиссом с самодержавием и содержащей целый ряд тактических уступок Николаю I (см. ее статью „Декабристы и Пушкин“ в собрании сочинений последнего, изд. „Красной нивы“, том VI, М., 1931). Настойчиво защищал эту точку зрения и Н. К. Пиксанов, который усмотрел цель Записки о народном воспитании в обуздании „молодых умов“, в органическом стремлении дворянского общества (взгляды которого Пушкин „чутко выразил“) „содействовать искоренению зла“, в прямом сочувствии политическим установкам III отделения! (Н. Пиксанов, Дворянская реакция на декабризм, сб. „Звенья“, кн. II. Academia, 1933, стр. 170—172).

Налицо, как мы видим, единый фронт от Анненкова и Сухомлинова до Нечкиной и Пиксанова. Фронт этот должен быть прорван. Изложенные нами выше мнения ни в какой мере не соответствуют действительности и основаны на недоучете ряда важнейших сторон Записки о народном воспитании или — что еще хуже — на гримировке Пушкина под оппортуниста и ренегата.

Вопрос о Записке нуждается в самом срочном пересмотре. Имеющиеся в распоряжении исследователей факты свидетельствуют не об измене Пушкина своим былым взглядам, а об энергичной защите их, не о трусости писателя, а об его чрезвычайном политическом мужестве.

## 1

„Его величество совершенно остается уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на перелание потомству славы нашего отечества, передав вместе бессмертию имя ваше. В сей уверенности его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения; и предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что вы на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания“.

Так граф А. Х. Бенкендорф писал 30 сентября 1826 года „его благородию А. С. Пушкину“. Письмо ближайшего конфидента русского императора и будущего шефа жанлармов знаменовало собою начало того сложного стратегического плана, которым самодержавная власть рассчитывала привязать еще недавно крамольного поэта к своей колеснице.

Припомним обстоятельства, предшествовавшие этому высочайшему поручению. Уже с августа 1824 года Пушкин томился в ссылке в псковском имении своего отца. С лета 1825 года одиночество, оторванность от столичного оживления и поднадзорное состояние сделались для него

нестерпимыми, и поэт не упускал случая напомнить о себе своим влиятельным при дворе друзьям.

„Михайловское душно для меня, — писал он В. А. Жуковскому. — Если бы царь меня до излечения отпустил за границу, то это было бы благодеяние, за которое я бы вечно был ему и друзьям моим благодарен. Вяземский пишет мне, что друзья мои в отношении властей изверились во мне: напрасно. Я обещал Н. М. (Карамзину. А. Ц.) два гола ничего не писать противу правительства и не писал. „Кинжал“ не против правительства писан, и хоть стихи не совсем чисты в отношении слога, но намерение в них безгрешно. Теперь же все это мне надоело, и если меня оставят в покое, то верно я буду думать об одних пятистопных без рифм“<sup>1</sup> (конец мая или начало июня 1825 г.).

Александр I не пустил, однако, поэта за границу, разрешив ему лечить его аневризм в Пскове с тем, чтобы тамошний губернатор (как деликатно выражался Анненков) „имел наблюдение за поведением и разговорами больного“. Подобное „смягчение“, конечно, не могло удовлетворить Пушкина — поднадзорное состояние оставалось в полной силе. „Я совершенно один; царь позволил мне ехать во Псков для операции моего аневризма, и Мойер (врач. А. Ц.) хотел ко мне приехать, но я просил его не беспокоиться и думаю, что не тронусь из моей деревни. Друзья мои за меня хлопотали против воли моей, и, кажется, только испортили мою участь“ (В. И. Туманскому, 13 августа 1825 года).

Проходит почти полгода. Узнав в конце декабря 1825 года о разгроме организованного членами Северного общества восстания, Пушкин из предосторожности сжигает свои записки, „которые могли замешать имена многих, а может быть и умножить число жертв“. Выждав некоторое время, он решается вновь напомнить о себе.

„Вероятно (пишет он Жуковскому) правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей не имел, но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же, кроме правительства и полиции, не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко может, уличат меня в политических заговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно. Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов уступать (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мной правительства“ (В. А. Жуковскому, вг. рая половина января 1826 г.).

„... Я желал бы вполне и искренно помириться с правительством, и, конечно, это ни от кого, кроме его, не зависит“, — повторяет Пушкин в первой половине февраля в письме к барону А. А. Дельвигу.

<sup>1</sup> Намек на трагедию „Борис Годунов“, над которой Пушкин в то время деятельно работал.

Оба письма к друзьям написаны Пушкиным в гордом и независимом тоне: — он ждет от правительства не „прощения“, а условий („буде условия необходимы“<sup>1</sup>) и до времени не хочет ему давать никаких гарантий: „мое будущее поведение зависит от обстоятельств“.

Говорить таким независимым тоном с правительством Николая I было, разумеется, делом совершенно безнадежным: вспомни, что весной 1826 года происходили непрерывные очные ставки „возмутителям 14 декабря“, что тюрьмы империи были полны арестованными, что правительство Николая I взялось за беспощадное искоренение политической „крамолы“. Видимо, сознавая это, Пушкин отправляет Жуковскому новое письмо, благонамеренный тон которого явно рассчитан на иных, гораздо более высокопоставленных читателей:

„Вступление на престол государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, его величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости“ (В. А. Жуковскому, 7 марта 1826).

11 мая поэт отправляет Николаю I личное прошение, обязуясь подпиской „впредь ни к каким тайным обществам... не принадлежать“ и свидетельствуя, что он, Пушкин, „ни к какому тайному обществу не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них“.<sup>1</sup>

Николаю I предостало р шить, как поступить с этим прошением о помилувании. Положение Пушкина было досмысленно и это прекрасно понимал главный ходатай за него — Жуковский.

„Ты, — отвечал он Пушкину, — ни в чем не замешан, это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством“ (12 апреля 1826 года).

Хорошо информированный воспитатель цесаревича был как нельзя более прав: имя Пушкина широко циркулировало не только по бумагам арестованных, но — что всего важнее — повсеместно встречалось в их показаниях верховному следственному комитету. Так, например, прапорщик Бесчасный показывал, что братья Борисовы советовали ему „брошить романы, как не заслуживающие потери времени, предлагая читать хороших писателей — трагедии, стихи сочинения Пушкина и других, постепенно разгорячивших пылкое воображение“. Капитан Майборода показывал, что, боясь ареста, декабристы Лорер и Гориславский „сожгли сочинения Пушкина“ ( Восстание декабристов“, том V, стр. 177; том IV, стр. 21; т. IV, ст. 65 и др.) „Кто из молодых людей, несколько образованных (спрашивал Николая I барон Штейнфель), не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободой?“ В следственных помещениях Петропавловской крепости имя Пушкина призналось со все возрастающей настойчивостью. Отойдя от непосредственного участия в революционном движении, Пушкин явно продолжал служить этому делу всем своим вольнолюбивым творчеством.

<sup>1</sup> Обязательство это было очевидной формальностью: о заговоре, по собственному признанию Пушкина, „кричали по всем переулкам“.

Перед Николаем I стояла дилемма: или уничтожить Пушкина, как были уничтожены летом 1826 года декабристы, или радикально обезопасить себя и свой режим от его ударов. Первый выход казался наиболее естественным и не представлял, в сущности, особых трудностей. Размах следствия над заговорщиками был так огромен, что охватить его щупальцами Пушкина ничего не стоило. Он был знаком с такими важнейшими членами тайных обществ, как Н. Тургенев, В. Раевский, П. Пестель, В. Кюхельбекер; он деятельно переписывался с Рылевым и А. Бестужевым, у него в ссылке был И. Пущин.<sup>1</sup> Но всего важнее было то, что в политическом пассиве Пушкина значились оды „Вольность“, „Деревня“ и „Кинжал“, „Послание к Чаадаеву“ и множество политических эпиграмм. Однако, новая ссылка Пушкина (о большем в виду отсутствия непосредственных улик думать не приходилось) не удовлетворяла Николая I. Царь был заинтересован не только в виселицах и кандалах для своих врагов, но и в густом фимиаме для себя самого. Общественное мнение России и Запада нужно было уверить в том, что с воцарением Николая I в стране настали мир и благоволение. Чтобы доказать это, Николай должен был иметь в своем распоряжении раскаявшихся заговорщиков. Людей, которые тронулись бы „милосердием“ царя и исправились сообразно его мудрым предначертаниям. В условиях конца 1826 года самодержавие было гораздо больше заинтересовано в идейной капитуляции Пушкина, нежели в его физическом уничтожении.

В этом направлении Николай I и начал действовать. 3 сентября 1826 года псковский губернатор фон-Адеркас получил от начальника главного штаба барона И. И. Дибича высочайшее разрешение „чиновнику 10 класса Александру Пушкину“ прибыть в Москву. „Г. Пушкин, — писал Дибич, — может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря“. Двусмысленность этой формулировки прекрасно отражала двусмысленность положения, в котором оказался ссыльный поэт. В Москве Пушкина ждало следствие по делу о распространении „возмутительной“ элегии „Андре Шенье в темнице“, в которой погibelная цензура заподозрила сочувственное изображение событий 14 декабря. Признание Пушкина виновным в сочинении подобной „крамолы“ неминуемо должно было повлечь за собою новые взыскания, самым легким из которых было бы лишение поэта возможности печататься, а, возможно, и новая, неизмеримо более тяжкая ссылка.

В Москву Пушкин прибыл 8 сентября и был в тот же день принят Николаем I. Содержание их довольно продолжительного разговора<sup>2</sup> дошло до нас только в высказываниях различных мемуаристов. Нет нужды излагать здесь эти малоавторитетные свидетельства, но следует подчеркнуть объединяющий их общий тон. Ласково приняв Пушкина и узнав о том, что его притесняет цензура, Николай заявил, что он сам будет его цензором. „Я позволяю вам жить, где хотите, пиши и пиши, я буду твоим цензором“, — записал Н. И. Лорер со слов Льва Пушкина. „Ну,

<sup>1</sup> „Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков“, — признавался Пушкин Вяземскому в своем письме от 10 июля 1826 года.

<sup>2</sup> „Говорят, — доносил фон-Фоку его секретный агент Локателли, — его величество дал Пушкину отдельную аудиенцию, длившуюся более двух часов“ (см. кн. Б. Л. Модзалевского. Пушкин под тайным надзором, Л., 1925).

так я сам буду твоим цензором, — сказал государь. Присылай мне все, что напишешь“, — вспоминал А. О. Россет. „Пуш-кину, — записал в своих мемуарах Ф. Ф. Вигель, — дозволено жить, где он хочет, и печатать, что хочет. Государь взялся быть его цензором, с условием, чтобы он не употреблял во зло дарованную ему совершенную свободу“. „Ты, — передавал заключительные слова царя А. Г. Хомутов, — будешь присылать ко мне все, что сочинишь; отныне я сам буду твоим цензором“.

Зная, что отступать поэту некуда, Николай рассыпал перед ним множество заранее обдуманых милостей. Он пленился откровенным ответом Пушкина на поставленный ему вопрос о том, был ли бы он в числе восставших, если бы оказался 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Он освободил Пушкина от ссылки и разрешил ему жить в столицах. Сняв с поэта тяжесть предварительной цензуры, Николай I заявил, что сам будет его цензором — честь, которой до той поры удостоился один лишь Карамзин. Политике кнута, казалось, была решительно предпочтена политика пряника.

Был ли Пушкин пленен царскими милостями, мы не знаем: известная записка его к П. А. Осиповой<sup>1</sup> мало что доказывает. Несомненно, однако, что из своего нового положения Пушкин надеялся извлечь немало пользы: „Царь освободил меня от цензуры, — вскоре сообщил он Н. М. Языкову. — Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная“.

Неожиданная на первый взгляд милость монарха базировалась на довольно искусном расчете: Николай надеялся, что Пушкин не останется неблагодарным. Это очень хорошо сквозит уже из записей многих современных поэту мемуаристов. Лев Пушкин свидетельствовал, что Николай I представил поэта царедворцам, сказав: „Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем“. П. Н. Бартенев уверял, что „Пушкин вышел из царского кабинета со слезами на глазах и был до конца признателен государю“. Агент III отделения Локателли лучше других выразил расчеты Николая I и окружавших его правительственных кругов, написав своему начальнику фон-Фоку, что „все искренно радуются великодушной снисходительности императора, которая без сомнения будет иметь самые счастливые последствия для русской литературы. Известно, что сердце у Пушкина доброе и для него необходимо лишь руководство“.<sup>2</sup>

## 2

Оказанные ему великодушную „снисходительность“ и „руководительство“ Пушкину, конечно, предстояло оплачивать. Записка о народном воспитании, которую Николай I заказал ему через посредство Бенкен-

<sup>1</sup> „L'empereur m'a reçu de la manière la plus aimable“, — писал он ей 15 сентября 1826 года из Москвы.

<sup>2</sup> Локателли был бы неприятно удивлен, если бы узнал, с какой ненавистью относилось к Пушкину его начальство. „Этот честолюбец, пожираемый жаждою вожделений, как примечают, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае. Говорят, что государь сделал ему благосклонный прием и что он не оправдает тех милостей, которое его величество оказал ему“ (из письма фон Фока графу А. Х. Бенкендорфу от 17 сентября 1826 г. Цит. по кн. Б. Л. Модзалевского, Пушкин под тайным надзором, Л., 192). Для III отделения трезвые расчеты фон-Фока были, конечно, неизмеримо характернее сентиментальных упований его подчиненного.

дорфа, должна была проверить, хорошо ли были восприняты еще недавно строптивым поэтом августейшие директивы. Намеренно оскорбительная фраза Бенкендорфа („предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что вы на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания“) злорадно подчеркивала именно эти испытательные цели высочайшего заказа.

Не трудно понять, почему Пушкину было предложено написать о „народном воспитании“. Тема эта буквально „висела в воздухе“. Правительство с ужасом усматривало в „происшествиях 14 декабря“ последствия чужеземных влияний. Обратимся к материалам судебного следствия, ныне в значительной части опубликованным. В опросных листах, которые предъявлялись буквально каждому из заговорщиков, содержался один и тот же стереотипный вопрос: „с какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, то-есть от сообщества ли или внушений других или от чтения книг или сочинений в рукописях и каких именно? Кто способствовал укренению в вас сих мыслей?“ Ответы на эти вопросы были столь же стереотипными: арестованные единодушно показывали, что главными возбудителями их являлись западно-европейские публицисты, с произведениями которых они познакомились во время заграничных походов 1813—1815 годов (см., например, „Восстание декабристов“, т. I, стр. 9, 156, 226, 343, 430, 482 и т. д.).

Консервативное дворянское общество не могло не реагировать на эти единодушные показания: его собственные политические прогнозы целиком совпадали с признаниями декабр стских лидеров. По словам графини М. Д. Нессельроде, новому царю предстояла „сложная работа — *направить в иную сторону стремления этих молодых, до крайности развращенных умов*“ „Сколько ему предстоит дела (вторила ей другая аристократка С. П. Свечина) и какая необходимость для него начать работу с возведения фундамента! Чтобы руководить современными поколениями, придется обуздывать их образ действий, неприятный и недостаточный, что же касается нарождающихся поколений, то ими нужно овладеть *при посредстве воспитания и ожидать прочных результатов лишь от медленной и мудрой обработки*“ (курсив наш, А. Ц.).

Проблема „воспитания“ властно занимала сознание дворянского общества. В создании такой рациональной системы истинно-русского патриотического воспитания было кровно заинтересовано и само правительство: без „возведения фундамента“ нечего было и думать об укреплении здания самодержавного режима. Вот почему в царском манифесте так настойчиво звучит тема „полупросвещения“, тема „пагубной ркоши и полупознаний“, и вот почему правительство предлагает написать записки о народном воспитании представителям различных общественных кругов: до нас дошли, например, записки Фаддея Булгарина фон-Фока, В. А. Перовского-Погорельского и мн. др. Заказом такого рода записок Николай I начинает вести бюрократическое обсуждение наиболее актуальных вопросов своей внутренней политики, одновременно кодируя общественные настроения и проверяя политическую идеологию публициста.

В числе прочих такое поручение получил от цзя и Пушкин. Записка была закончена 15 ноября 1826 года в селе Михайловском. До нас этот документ дошел в четырех автографах. Наиболее ранним нужно

считать черновую рукопись Записки, набросанную — в большей своей части — карандашом в тетради № 2368 рядом с отрывками четвертой главы „Евгения Онегина“ (листы 42—49 включительно) и хранящуюся в настоящее время в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина. Набросав свою Записку в черновой тетради, Пушкин переписал ее. Беловой автограф хранился в Остафьевском архиве графа Шереметева с следующей надписью князя Вяземского: „Дано мне Пушкиным. Эта записка составлена и представлена им имп(ератору) Николаю, вероятно по требованию е(го) В(еличества), когда он, выпитанный в Москву из Псковской ссылки, явился государю в Кремлевском дворце вскоре после коронации“. В эту вторую по счету редакцию Пушкин внес ряд изменений, после чего писец снял с нее копию для императора. Авторизованная копия (Пушкин выставил на ней заглавие, подписал фамилию и сделал на полях два дополнения) и была через начальника главного штаба И. И. Дибича и Бенкендорфа представлена императору. Что касается четвертого автографа Записки, то он представляет собою отрывок черновой, касающийся вопроса о реформе М. М. Сперанского, опубликованный в сб. „Неизданный Пушкин“.

Все четыре рукописи исследовались различными пушкинистами. П. И. Бартенев напечатал в сб. „Деятнадцатый век“, часть I, 1872, беловую Остафьевского архива; М. И. Сухомлинов опубликовал пометки на ней Николая I; Н. К. Козьмин в своих примечаниях к IX тому академического собрания сочинений (1928) напечатал „важнейшие первоначальные варианты“. Черновая рукопись в целом Н. К. Козьминым, однако, не была воспроизведена. Из поля его зрения выпало, например, множество зачеркнутых или исправленных Пушкиным слов и выражений, невзирая на всю исключительную важность их для правильного и всестороннего исследования пушкинского документа. Наконец, что всего досаднее, ни один из исследователей Записки о народном воспитании не произвел систематического сравнения ее различных редакций и не попытался осмыслить на основании их политические тенденции Пушкина, рассмотрев эти последние в их постепенном и противоречивом становлении. Эту важнейшую задачу нам в настоящее время приходится решать почти заново.

## 3

На одной из страниц, предшествующих началу Записки, Пушкиным дважды была изображена виселица с силуэтами пяти казненных и подпись: „и я бы мог как шут на...“ Этот зловещий рисунок не может быть, к сожалению, точно датирован: черновые тетради Пушкина не заполнялись им в определенной последовательности страниц. Несомненно одно: с самого начала работ над Запиской мысль Пушкина была неослабно прикована к событиям 14 декабря и к их трагической развязке.

Определением своего отношения к этим событиям Пушкин и начинает свое изложение.

„Последние происшествия, — пишет он, — обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и



долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий" (27).<sup>1</sup>

Выраженное в этих строках отмежевание Пушкина от декабристов не нуждается как будто ни в каких комментариях — заблуждения мятежников признаются „преступными“, усилия их — „злонамеренными“. Несмотря на это, было бы ошибкой квалифицировать этот пассаж Записки как типично благонамеренный. Сквозь официальную фразеологию здесь явственно просвечивает иное содержание. Характерно, что Пушкин говорит о „политических изменениях, вынужденных у других народов силой обстоятельств и долговременным приготовлением“. Иначе говоря, он не против изменений, а только против тех из них, которые не предварялись „долговременным приготовлением“. <sup>2</sup> Иначе говоря, Пушкин возвращается здесь к формуле первого своего „Послания к цензору“ (1822), гласящей:

Что нужно Лондону, то рано для Москвы.

„Должно надеяться, — читаем мы далее, — что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что с одной стороны они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей“ (28).

Эти пушкинские строки способны поразить всякого своей уклончивостью и скрытым в них содержанием. Уже здесь Пушкин говорит не о *преступности* замыслов, а об их *ничтожности*, не о *моральной правоте* правительства, а о *необъятной силе* его. Написав сначала в черновой о ничтожности замыслов заговорщиков, Пушкин затем поверх строки прибавляет: „и средств“. Добавление это безусловно правильно: причины неудачи декабристского восстания заключались не столько в замыслах, сколько в средствах, в том, что они были неизмеримо далеки от народа. Ничего не значущее на первый взгляд добавление это в действительности вносит в формулировку новый оттенок, несомненно смягчающий ее первоначальную суровость. Призывая „братьев, друзей, товарищей погибших успокоиться временем и размышлением, понять необходимость и простить оной в душе своей“, <sup>3</sup> Пушкин как бы наводит их на мысль, что обуха самодержавия нельзя перешибить плетью декабристской революционности, не имеющей за собою ни поддержки „средств“, ни „общего мнения“, у нас „еще не существующего“. В призыве Пушкина

<sup>1</sup> Здесь и далее мы цитируем Записку о народном воспитании по тексту IX тома Академического собрания сочинений. Впрочем, разночтения отдельных изданий незначительны.

<sup>2</sup> В черновой Рукописного отделения московской библиотеки имени Ленина это место читается так: „...вынужденные у других народов долговременным приготовлением, но у нас еще не требуемые ни духом народа, ни общим мнением, еще не существующим“, и т. д. Эта ссылка на „дух народа“ и общественное мнение“ была Пушкиным вычеркнута, повидимому, из нежелания раздражать Николая I и тем самым ставить свою Записку под угрозу полного провала.

<sup>3</sup> „Псвешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна“ (из письма к князю Вяземскому, 14 августа 1826). Сопоставление между собою этих двух цитат с неоспоримостью указывает на глубокую связь Пушкина с декабристами.

к „смирению“ здесь явно чувствуется желание, чтобы „братья, друзья, товарищи“ погибших избежали угрозы окончательного разгрома.

Тактический смысл этого места Записки прекрасно вскрывается двумя исправлениями первоначального текста. В черновой (библиотеки имени Ленина) Пушкин писал о декабристах как о „несчастных представителях сего буйного и невежественного поколения“. В белой оба последние эпитета вычеркиваются, и декабристы определяются как „несчастные представители сего поколения“. Оценка разгромленных декабристов приобретает тем самым явно сострадательный оттенок. Второе исправление не менее характерно: говоря о „необъятной силе правительства“, „основанной на силе вещей“, Пушкин в первоначальном черновом тексте написал: „на духе народа“, но тотчас же зачеркнул три последние слова, несомненно не желая выдавать самодержавию Николая I патента „все-народности“.

Как ярко отражается в этих с первого взгляда ничем не примечательных „поправках“ и „подчистках“ новая политическая тактика Пушкина! Мы знаем, что его отход от декабризма в 1823—1824 годах был обусловлен все более возраставшим недоверием Пушкина к *возможностям победоносного восстания*. Мы знаем, что политические взгляды поэта в конце 1810-х годов были чрезвычайно близки к взглядам умеренного крыла „северян“ — „Союза благоденствия“ (филиалом его была, как известно, „Зеленая лампа“, в которой деятельно участвовал Пушкин), а позднее к Никите Муравьеву и Николаю Тургеневу. На 1823—1824 годы приходится, однако, отход Пушкина от стратегии и тактики декабризма. В эту пору разгрома европейских революций даже самые передовые вожди тайных обществ начинают испытывать сомнения в возможности победы. В еще большей степени испытывает эти сомнения Пушкин, уже оторванный в эту пору от непосредственной связи с заговорщиками. Стихотворение „Свободы сеятель пустынный“ (1823) со всей силой отражает неверие Пушкина в возможность победоносного восстания народа.

Свободы сеятель пустынный,  
Я вышел рано, до звезды;  
Рукою чистой и безвинной  
В поработенные бразды  
Бросал живительное семя —  
Но потерял я только время,  
Благие мысли и труды...

Было ли прогрессивным это неверие Пушкина в движущие силы декабризма, в возможности народного сдвига? В условиях готовящегося восстания этой прогрессивности, конечно, не существовало. Но пессимизм Пушкина объективно соответствовал положению дел в стране и целиком подтверждался действительностью. Декабрьский разгром со всей силой подчеркнул *изолированность* этих дворянских революционеров от глухо волновавшейся, но неорганизованной народной массы. Торжество Николаевской диктатуры как нельзя более подчеркивалось теми раблепными уверениями в своей преданности, которую расточали царю арестованные декабристы. Революционное движение на долгое время было загнано в глухое подполье.

В этих труднейших исторических условиях Пушкину приходилось решать вопрос о своем отношении к происходящему. Пушкин не капитулирует перед самодержавием — мы видели выше, какой независимостью дышали его обращения к правительству, которые он сам рассматривал как условия соглашения. Перед лицом надвигающейся расправы он, правда, еще пытается некоторую надежду на то, что Николай I смягчит наказание участникам восстания.

„С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнаружения заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики, но взглянем на трагедию взглядом Шекспира...“ (из письма к Дельвигу 15 февраля 1826 года).

Как характерно сплетается здесь сочувствие „несчастным“ с призывом к шекспировской широте охвата действительности, с твердым учетом ее многочисленных противоречий.

Пушкин не имел возможности отказаться от написания Записки о народном воспитании — этот отказ с несомненностью навлек бы на него злобу царя и сверг поэта в новую, еще более суровую ссылку. Перед ним стояла иная, неизмеримо более трудная задача — убедить царя в необходимости преобразования воспитательных учреждений страны, высказав, под личиной благонамеренности, ряд неприятных для самодержавия истин. Именно такую замаскированную программу преобразований и содержала Записка о народном воспитании. Документ, в котором до сих пор усматривалось только ренегатство или стремление к искусному компромиссу с царизмом, представляет собою в действительности акт борьбы с существующим укладом.

## 4

В манифесте Николая I, обнародованном 17 июля 1826 года в полуофициальной газете „Северная пчела“, Пушкин имел возможность ознакомиться с правительственным диагнозом „болезни“, поразившей Россию, и с мерами „излечения“ ее от этой болезни. „Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздность телесных сил, — недостатку твердых познаний должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец погибель“ („Северная пчела“, 1826, № 85).

Кажется почти невероятным, что это место царского манифеста могло быть процитировано Пушкиным в его Записке. И тем не менее факт такого использования налицо. „Не одно влияние чужеземного идеологизма, — пишет Пушкин, — пагубно для нашего отечества; воспитание или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла“. „Не просвещению, сказано в высочайшем манифесте от 13 июля 1826 года, но праздности ума, более вредной, чем праздность телесных сил, недостатку твердых познаний должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — погибель“. „Скажем более (добавляет от себя Пушкин): одно просвеще-

ние в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия" (28).

Используя манифест Николая I, Пушкин делает из него как нельзя более оригинальные выводы. „Полупросвещение вредно“ — со всей энергией утверждает царь, „полупросвещение вредно“ — признает и Пушкин. Налицо, казалось бы, полное совпадение оценок. Но для Николая „полупросвещение“ неприемлемо потому, что он стоит за полную темноту в стране, лучшую опору самодержавной власти. Пушкин „полупросвещению“ предпочитает просвещение настоящее и полное. Как бы соглашаясь с Николаем I, наш публицист придает его мысли такую направленность, что она начинает звучать в совершенно противоположном духе!

Тезис о неприемлемости „полупросвещения“ дает Пушкину возможность развернуть на страницах своей Записки резкую критику ряда важных учреждений николаевской России. Им берется под обстрел, в первых, характерная для той поры погоня за служебными отличиями.

„Чины, — пишет Пушкин, — сделались страстью русского народа. Того хотел Петр Великий, того требовало тогдашнее состояние России. В других землях молодой человек кончает курс учения около 25 лет; у нас он торопится вступить как можно ранее в службу, ибо ему необходимо 30-ти лет быть полковником или коллежским советником. Он входит в свет безо всяких основательных познаний, без всяких положительных правил: всякая мысль для него нова, всякая новость имеет на него влияние“ (28).

Опираясь на опыт „других земель“, то-есть Западной Европы, Пушкин требует в своей Записке „уничтожения гражданских чинов“ или „по крайней мере“ представления чинов „целию и достоянием просвещения“: „должно увлечь все юношество в общественные заведения, подчиненные надзору правительства, должно его там удерживать, дать ему время перекипеть, обогатиться познаниями, созреть в тишине училищ, а не в шумной праздности казарм“ (29). Таков первый и, как мы видим, чрезвычайно важный корректив Пушкина к действительности николаевской России.

Предложение уничтожить чины влечет за собой другое предложение:

„уничтожить экзамены. Покойный император, удостоверившись в ничтожестве ему предшествовавшего поколения, желал открыть дорогу просвещенному юношеству и задержать как-нибудь стариков, закоренелых в безнравствии и невежестве. Отселе указ об экзаменах, мера слишком демократическая и ошибочная, ибо она нанесла последний удар дворянскому просвещению и гражданской администрации,<sup>1</sup> вытеснив все новое поколение в военную службу. А так как в России все продажно, то и экзамен сделался новой отраслью промышленности для профессоров. Он чохом идет на плохую таможенную заставу, в которую старые инвалиды пропускают за деньги тех, которые не умели проехать стороною“ (29).

<sup>1</sup> Характерное отражение тех пережитков аристократической психологии, которые в половине 20-х годов, несомненно, существовали в классовом самосознании Пушкина (ср. его споры с Рылевым о шестисотлетнем дворянстве).

Еще более резко Пушкин говорил о военно-учебных заведениях.

„Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большого присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении“ (30).

Здесь имелась в виду, конечно, педерастия, свившая себе в этих закрытых мужских училищах прочное гнездо.

Но предела своей резкости оценки Пушкина достигают там, где он касается воспитания, даваемого в частном дворянском быту.

„В России, — читаем мы в Записке, — домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребенок окружен одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем. Воспитание в частных пансионах немногим лучше. Здесь и там оно кончается на 16-тилетнем возрасте воспитанника. Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное“ (29).

Таковы основные пункты критики Пушкиным современной ему действительности. Резкость формулировок буквально бросается здесь в глаза: нужно было обладать большой трезвостью суждений для того, чтобы сказать в 1826 году, что „чины сделались страстию русского народа“, что „в России все продажно“, что, „окруженный одними холопами“, дворянский „ребенок видит одни гнусные примеры“<sup>1</sup> и „не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести“ и т. д. Характеристики Пушкина злы и выразительны. Можно лишь поражаться тому, как долго игнорировались большинством наших исследователей эти столь реалистические, полные острой иронии и бичующего сарказма зарисовки различных сторон николаевской России.

Интересно отметить, что в черновой рукописи Записки о народном воспитании мы не найдем ни критики кадетских корпусов, ни доброй части выпадов против домашнего воспитания, экзаменов и т. п. Первая черновая, казалось, должна была содержать много такого, от чего по тактическим соображениям пришлось отказаться в окончательной редакции. Записка о народном воспитании писалась, однако, по совершенно противоположному принципу: беловик в общем гораздо более развернуто и остро критиковал современный Пушкину уклад, чем это было сделано в первоначальных набросках. Чем больше работал Пушкин над своей Запиской, тем сильнее расходилось его перо и тем больший простор он давал своему раздражению на российскую действительность, своему презрению к укладу и порядкам крепостнической страны.

<sup>1</sup> В черновой рукописи библиотеки имени Ленина первоначально было написано: „одни примеры гнусного рабства“. Последние два слова пришлось, конечно, зачеркнуть: они звучали бы как обличение торжествовавшего тогда свою победу крепостного права.

Но для Записки Пушкина было характерно не только то, что в ней отрицалось: в не меньшей степени показательно и то, что там защищалось и пропагандировалось.

Любопытно, прежде всего, что, самым резким образом ополчаясь против домашнего воспитания, при котором ребенок „своевольничает или рабствует“, Пушкин никак не возражал против „иноземщины“. „Что касается до воспитания заграничного, то запрещать его нет никакой надобности. Довольно будет опутать его одними невыгодами, сопряженными с воспитанием домашним, ибо, 1-ое, весьма немногие станут пользоваться сим позволением; 2-е, воспитание иностранных университетов, несмотря на все свои неудобства, не в пример для нас менее вредно воспитанию патриархального. Мы видим, что Н. Тургенев, воспитывавшийся в Геттинг(енском) Унив(ерситете), несмотря на свой политический фанатизм, отличался среди буйных своих сообщников нравственностью и умеренностью — следствием просвещения истинного и положительных познаний“ (30).

Приведенная здесь оценка Тургенева в первоначальной черновой читалась: „и тот, несмотря на свои заблуждения и свой политический фанатизм, отличался“ и т. д. В окончательном тексте слова „свои заблуждения“ были выброшены — замечательное свидетельство того, что Пушкин ничем не желал чернить этого виднейшего декабриста.

Для того чтобы вполне оценить независимость пушкинской аттестации, следует вспомнить, что писалось о Н. И. Тургеневе в решении верховного суда: „Действительный статский советник Тургенев по показаниям 24-х соучастников был действительным членом Тайного общества: участвовал в учреждении, восстановлении, совещаниях и распространении оного привлечением других, равно участвовал в умысле ввести республиканское правление; и удалясь за границу, он по призыву правительства к оправданию не явился, чем и подтвердил сделанные на него показания“ („Северная пчела“, 1826, № 85). По приговору верховного уголовного суда Николай Иванович Тургенев отнесен был к преступникам первого разряда — которые „по лишению чинов и дворянства ссылались вечно в каторжную работу“ (там же). Сказать о видном заговорщике, находившемся, вдобавок, вне сферы досягаемости правительства — Тургенев, как мы знаем, бежал в Англию, что он „отличался нравственностью и умеренностью“, написать это царю, фактически руководившему расправой (Пушкин это великолепно знал), значило во всяком случае обнаружить огромную смелость и независимость суждений.

От постановки дела в кадетских корпусах Пушкин переходит к рассмотрению преподавания в школе, и эта часть его Записки, пожалуй, самая значительная и характерная. Пушкин высказывается здесь против злоупотребления иностранными языками.

„Предметы учения в первые годы не требуют значительной перемены. Кажется, однако же, что языки слишком много занимают времени. К чему, например, 6-летнее изучение французского языка, когда навык света и без того слишком уже достаточен? К чему латинский или греческий? Позволительна ли роскошь там, где чувствителен недостаток необходимого?“

Желательность сокращения языков мотивирована, как мы видим, дворянским воспитанием („навыком света“), но само по себе предложение Пушкина чрезвычайно симптоматично.

Сокращая языки, Записка предлагает зато широко развернуть изучение „высших политических наук“, которые „займут окончательные годы“ и включают в себя „преподавание прав, политическую экономию по новейшей системе Сея и Сисмонди, статистику, историю“.

„История в первые годы учения должна быть голым хронологическим рассказом происшествий безо всяких нравственных или политических рассуждений. К чему давать младен(че)ствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное? Но в окончательном курсе преподавание истории (особенно новейшей) должно будет совершенно измениться. Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем. Вообще, не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны“ (32).

Этим строкам принадлежит в Записке центральное место по важности тем, которые затронуты в них, и по независимости высказанных суждений. Замечателен прежде всего тот развернутый курс наук, которые Пушкин рекомендует для „окончательных годов“ училища. Рекомендовать для них преподавание политической экономии, притом „по новейшей системе Сея и Сисмонди“, значило узаконять в школе тот огромный интерес к этой науке, который возник в русском обществе 1810—1820-х годов и которому воздали такую обильную дань декабристские заговорщики.

„К чему давать младенчеству умам направление одностороннее, всегда непрочное?“ Этот вопрос Пушкина, несомненно, бил по той системе преподавания, которая укоренилась уже в конце царствования Александра I. Как ярко вырисовывается в этом требовании исторической объективности человек, знающий цену реакционной односторонности казенной царской науки. Требование „не хитрить и не искажать республиканских рассуждений“ содержало в себе недвусмысленную критику измышлений официальных историков и объективно легализовало революционные теории. Сказать о „недопустимости искажения республиканских рассуждений“ в год разгрома российских республиканцев значило фактически помогать влиянию их теорий на общество, предоставить декабристам политическую трибуну.

В черновой рукописи Ленинской библиотеки место это было изложено несколько отличным образом: „...К чему (опасно) давать какое бы то ни было направление младенствующим умам? Оно прочно быть не может и во всяком случае делает их не твердыми и постоянными, но токмо односторонними. Именно в сем окончательном курсе историю должно будет явить со всех ее сторон — не таить от них республиканских рассуждений Тацита (великого сатирического писателя, впрочем опасного декламатора и исполненного политических предрассудков)...“

В этом отрывке замечательны два места. Фраза „к чему давать какое бы то ни было направление младенствующим умам“ не удовлетворяет Пушкина именно потому, что здесь говорится о порочности *всякого* направления в освещении истории. Это место поэтому переделывается: „К чему давать младенствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное?“ Из контекста явствует, что Пушкин, несомненно, имел здесь в виду пропитанные квасным патриотизмом учебники своего времени. Вторая подробность касается Тацита. Сложность характеристики („великий сатирический писатель, впрочем опасный декламатор и исполненный политических предубеждений“) смущает автора, который в Беловой Остафьевского архива наделяет римского историка „латинскими предубеждениями“ и, очевидно не удовлетворившись этим, выкидывает затем всю характеристику. Знаменательно самое упоминание в рукописи имени Тацита. Аттестация его как „великого сатирического писателя“ заставляет припомнить те похвалы, которые рстачали римскому историку в своих показаниях декабристы и которого сам Пушкин летом 1825 года в своих замечаниях на „Анналы“ красноречиво назвал: „Тацит, бич тиранов“.

## 6

Обратив внимания царя на то, что „историю русскую должно будет преподавать по Карамзину“ и что „изучение России“ потребует кроме истории также и кафедры статистики и законодательства, Пушкин заключает свою Записку следующей концовкой:

„Сам от себя бы я никогда не осмелился представить на рассмотрение правительства столь недостаточные замечания о предмете столь важном, каково (так!) есть народное воспитание; одножелание усердием и искренностью оправдать высочайшие милости, мною незаслуженные, понудили меня исполнить вверенное мне предложение. Ободренный первым вниманием Государя Императора, всеподданнейше прошу его величество дозволить мне повергнуть пред ним мысли касательно предметов, более мне близких и знакомых“ (32).

В приведенном пассаже необходимо прежде всего отметить его несколько раздраженный тон. Пушкин естественно ожидал, что ему поручат написать записку о смягчении цензуры, учреждения более ему близкого и знакомого.<sup>1</sup> Но еще существеннее многочисленные изменения и поправки в конце его сочинения. Иные из них объясняются необходимостью навести на Записку стилистический лоск, выдержать в ней фразеологию, необходимую в обращении к высочайшей особе. Написав в черновой „чувствуя недостаточность сих наскоро наброшенных заме-

---

<sup>1</sup> В письме к П. А. Осиповой от 15 сентября 1826 года поэт сообщал о толках в обществе вокруг нового цензурного устава; о том же писал он и Языкову 9 ноября 1826 года.

Предмет этот живо волновал Пушкина — вспомним, что на тему о цензуре им были написаны в начале 20-х годов два послания, что возмущением против тупости, мракобесия и произвола цензоров наполнена вся переписка Пушкина с друзьями и т. д.



чаний“, Пушкин затем вычеркивает слова „наскоро наброшенных“. Делает он это, конечно, не потому, что слова эти не соответствовали действительности — над своей Запиской Пушкин в самом деле работал мало и написал ее поспешно — но потому, что подобное упоминание говорило бы о небрежности Пушкина к порученной ему теме.

Наводя необходимый фразеологический лоск, Пушкин однако избегал здесь всего, что могло бы привести на царя впечатление раболепия. В черновой, например, он писал: „Я бы никогда не осмелился повергнуть на рассмотрение правительства столь недостаточные замечания“. Слово „повергнуть“ остается и в первой белой рукописи (Остафьевского архива); но в авторизованной копии, адресованной Николаю I, значилось более умеренное: „я бы никогда не осмелился *представить*...“

Следует отметить и другую подробность рукописных различий. Первоначально в черновой было написано: „Одно желание усердием и искренностью оправдать высокие милости, мною незаслуженные, побудили меня исполнить вверенное мне препоручение“. Глагол „побудили“ Пушкин тотчас же устраняет как недостаточно сильный, заменяя его глаголом „ободрили“. Однако и эта новая редакция не удовлетворила публициста и, зачеркнув этот второй глагол, он уже в черновой написал: „*понудили* меня исполнить вверенное мне препоручение“. Замена эта бесспорно подчеркнула исполнительность Пушкина, но вместе с тем глагол „понудили“ верно отразил то чувство, с которым Пушкин писал это сочинение на заказанную им Николаем I тему.

## 7

Записка о народном воспитании была окончена Пушкиным 15 ноября 1826 года и вручена начальнику главного штаба генералу И. И. Дибичу. Тот переправил ее Бенкендорфу, от которого она и попала в руки императора. Шеф жандармов сопроводил Записку своим письмом, в котором, между прочим, говорилось: „Вследствие разговора, который у меня был, по приказанию вашего величества, с Пушкиным, он мне только что прислал свои заметки на общественное воспитание, которые при сем прилагаю — *заметки человека, возвращающегося к здравому смыслу* (курсив наш. А. Ц.)“. Рукою Николая I на полях этой сопроводительной бумаги было написано: „Посмотрю, что это такое“.

Мог ли Николай I удовлетвориться содержанием Записки? Проведенное выше рассмотрение ее главнейших пунктов заставляет нас ответить на этот вопрос отрицательно. Сделанные Пушкиным предложения были совершенно неприемлемы для русского самодержавия, тем более для такого воинствующего и твердолобого самодержца, каким был Николай I. Недовольство царя быстро нашло себе соответствующее выражение: почти каждый пункт пушкинской рукописи Николай сопроводил вопросительным знаком, красноречиво указывающим на недоумение и недовольство венценосца.

Не менее Пушкина, а конечно гораздо больше и искреннее его царь хотел „защитить новое возрастающее поколение от влияний чужеземного идеологизма“. Но между защитой его Николаем и пушкинской защитой лежала поистине дистанция огромного размера. „Должно подавить воспитание частное“, — утверждал Пушкин. Николай I против этого места

Записки поставил вопросительный знак и был по-своему совершенно прав. С точки зрения самодержавия частное воспитание обязано было готовить учеников к должному восприятию монархических идей. В манифесте 1826 года так и писалось: „Тщетны будут все усилия, все пожертвования, если домашнее воспитание не будет готовить нравы и содействовать его видам“.<sup>1</sup>

Расхождение в этом важнейшем пункте определило весь дальнейший разнобой августейшего рецензента с публицистом. „Одно просвещение, — указывал Пушкин, — в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия“. У Николая были все основания сопроводить и это место вопросительным знаком: с его точки зрения декабрьская „смута“ вызвана была именно тем, что молодежь увлекалась абсолютно несвойственными „духу русского народа“ идеями.

Еще более неприемлемо для Николая I было пушкинское предложение уничтожить чиновничество. В его глазах это было предложением человека, еще не отрешившегося от своего вольнолюбия, предложение „титularного советника“, не понимающего, что вся самодержавная монархия должна была покоиться на иерархии чинов, обусловленных заслугой перед этой системой. Пушкин предлагал „в гимназиях, лицеях и пансионах при университетах продлить курс учения, по мере того повышая и чины, даваемые при выпуске“. Возле этого места Записки стояли уже не один, а три вопросительных знака: стать на этот путь означало для Николая выпустить из своих рук дворянскую молодежь и, поставив ее квалификацию в зависимость от успехов в учении, а не от исполнительности в службе, тем самым лишить себя необходимой армии бюрократических исполнителей.

Двумя вопросами сопровождает Николай и пушкинскую приписку о реформе семинарий и успокоительное на первый взгляд утверждение Пушкина, что „ланкастерские школы входят у нас в систему военного образования и следовательно состоят в самом лучшем порядке“. Система взаимного обучения, изобретенная братьями Ланкастер и введенная в России с 1816 года, была у Николая I на особом подозрении — он хорошо помнил, что уже пять лет содержащийся по обвинению в революционной пропаганде Владимир Раевский заведывал в Кишиневе как раз такой ланкастерской школой, которые Николай после своего воцарения быстро вывел из педагогического обихода.

Как и должно было ожидать, вопросительные знаки сопровождали и утверждение, что запрещать воспитание заграничное нет никакой надобности (Николай держался на этот счет прямо противоположного мнения), и приписку Пушкина в связи с этим о Тургеневе, и определение декабристов как „несчастливых“ представителей поколения.

Особенно много вопросов наставлено было Николаем около близких его сердцу пунктов о реформе кадетских корпусов. Он оказался несогласен с тем, что юношеству „должно дать... время созреть в тишине училищ, а не в шумной праздности казарм“, — Николай явно стоял во всей своей государственной практике за казармы, отнюдь не праздные, конечно, а полные забот о шагистике. Не понравилось Николаю и пред-

<sup>1</sup> „Северная пчела“, 1826, № 85. Замечательно, что, цитируя в своей Записке манифест Николая I, Пушкин обошел эту его фразу полным молчанием.

ложение Пушкина о том, что „доносы других воспитанников должны быть оставлены без исследования и даже подвергаться наказанию“, что „слишком жестокое воспитание делает палачей, а не начальников“, что „уничтожение телесных наказаний необходимо“ — между этими либеральными советами и тем путем, по которому уже пошел новый царь, лежала, разумеется, глубокая пропасть.

Чем более близилась Записка к концу, тем щедрее становился Николай на вопросительные знаки. Это и понятно: Пушкин приближался к самому рискованному пассажи своего изложения, трактовавшему вопрос о круге и направлении преподаваемых дисциплин. Здесь Николай I первым делом и поставил знак вопроса около фраз: „К чему латинский или греческий? Позволительна ли роскошь там, где чувствителен недостаток необходимого?“, выступив таким образом непоколебимым защитником классического преподавания. Оно для царя было куда более приемлемо, чем преподавание „высших политических наук“, на котором так настаивал Пушкин. Носитель верховной власти в крепостнической стране естественно должен был голосовать не за прагматическое<sup>1</sup> воспитание, а за патриотическую дидактику. Ему был, разумеется, глубоко чужд курс на историю, как на „голый хронологический рассказ происшествий безо всяких нравственных или политических рассуждений“. Самодержавие было заинтересовано именно в благонамеренных „рассуждениях“, в направлении, пускай одностороннем, но соответствующем его видам и внушавшемся всем без исключения, в том числе и „младенчеству умам“. Для Николая совершенно непонятно было, зачем Кесаря, законного монарха, как-никак представляющего в древнем Риме неограниченную власть, необходимо представить „честолюбивым возмутителем“, а воспетого декабристами Брута „представлять защитником и мстителем (!) коренных постановлений отечества“ (?),<sup>2</sup> почему „не должно, чтобы республиканские идеи имели для воспитанников прелесть новизны“ (?), „Как можно в самодержавном государстве с хладнокровием показать разницу духа народов — источника нужд и требований государственных“. Возле этого места Записки Николай, явно лишившийся хладнокровия, ставит подряд *три* вопросительных знака!

Срок вопросительных и один восклицательный знак, поставленные Николаем I на полях пушкинской Записки, достаточно красноречиво свидетельствовали о недовольстве представленным ему документом. Задуманного царем и проведенного при непосредственном участии Бенкендорфа испытания Пушкин явно не выдержал, выставив в своей Записке целый ряд абсолютно неприемлемых для самодержавия предложений. У Николая не было никаких оснований продолжать этот опыт далее и, следуя просьбе поэта, „дозволить ему повергнуть“ на рассмотрение царя „мысли касательно предметов более ему близких и знакомых“.

<sup>1</sup> Определение, брошенное Пушкиным в рукописи Остафьевского архива.

<sup>2</sup> Общеизвестен пиетет декабристов перед образом Брута, неподкупного римского республиканца и убийцы „тирана“ Цезаря. И. Д. Якушкин восторгается Брутом, а Рылеев, по собственному признанию П. Каховского, пользовался примером Брута для того, чтобы заставить того пойти на царубийство, „стал действовать так, чтобы приготовить меня быть кинжалом в руках его. Я не буду говорить, как он представлял мне в пример Брута, Занда“ (Восстание декабристов, т. I, М., 1925, стр. 373).

Однако Пушкину надо было все же что-либо ответить: его Записка как-никак выдержана была в благонамеренной, верноподданнической манере. Царь избрал выход, при котором, не отпугивая нужного ему поэта, дал его взглядам резкую и недоброжелательную критику. Николай I положил на Записку резолюцию, которую Бенкендорф затем точно перевел в своем письме к Пушкину от 23 декабря 1826 года:

„Милостивый Государь

Александр Сергеевич!

Государь Император с удовольствием изволил читать рассуждение ваше о народном воспитании и поручил мне изъявить вам высочайшую свою признательность. Его величество при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оное толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем рассуждения ваши заключают в себе много полезных истин“.

Заключительная фраза этого письма написана Бенкендорфом в выполнение директивы Николая: „Поблагодарить его за эту записку от имени императора“. Далеко не случайно, что ни об одной из „полезных истин“ Записки Бенкендорф не счел нужным распространяться, равно как не отметил их в своей резолюции и сам император. Фраза эта была благопристойной концовкой к отрыву, полному критики, содержащему чрезвычайно выразительную характеристику тех начал, на которых „должно быть основано благонаправленное воспитание“.

Письмо шефа жандармов содержало в себе по существу высочайший выговор. Именно так его воспринял и сам Пушкин. Разговаривая в 1828 году насчет Записки с А. Н. Вульфом, Пушкин заметил своему другу:

„Мне было бы легко написать то, чего хотели; но не надобно пропускать такого случая, чтобы сделать добро. Я однакож сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову“.<sup>1</sup>

Записка Пушкина была положена царем под сукно. Через восемь лет Пушкин, однако, повторил эту свою попытку. Излагая беседу, которую он имел 22 декабря 1834 года с великим князем Михаилом Павловичем, Пушкин писал в своем дневнике: „Разговор обратился к воспитанию, любимому предмету его высочества. Я успел высказать ему многое. Дай бог, чтобы слова мои произвели хоть каплю добра“.<sup>2</sup>

Нет ничего невероятного в предположении, что Пушкин изложил великому князю Михаилу именно то, что им в свое время было предло-

<sup>1</sup> Дневник А. С. Пушкина, М.-Л., 1923, стр. 66.

<sup>2</sup> Л. Н. Майков. Пушкин, СПб., 1899, стр. 177—178.

жено самому императору. Если эта гипотеза верна, то приходится отметить, что за эти годы Пушкин стал гораздо более пессимистично относиться к эффекту своих выступлений. В 1826 году „не надо было упускать случая... сделать добро“, в 1834 речь шла уже о том, чтобы слова Пушкина „произвели хоть каплю добра“. Умеренность этой формулы имела свои основания: самодержавный режим Николая I уже создал свою систему воспитания...

## 8

В 1828 году Пушкин написал стихотворение „Друзьям“, которое, как известно, оканчивалось следующими строками:

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:  
Он горе на царя накличет,  
Он из его державных прав  
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,  
Гнеги природы голос нежный!  
Он скажет: просвещенья плод —  
Разврат и некий дух мятежный!

Беда стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу,  
А небом избранный певец  
Молчит, потуя очи долу.

Пушкиноведа неоднократно указывали на то, что эти заключительные строфы послания Пушкина „Друзьям“ представляют собою прямой поэтический комментарий к написанной двумя годами ранее Записке о народном воспитании. „Будучи убежден (писал, например, М. И. Сухомлинов), что в просвещении заключается великая нравственная сила, охраняющая и общество и государство, и зная, что в кругу лиц, окружавших государя, господствуют другие взгляды, Пушкин не хотел надевать на себя маски, не скрывал своего образа мыслей и высказал его со всей прямою и искренностью. Получив от Бенкендорфа внушение в том духе, что усердие важнее просвещения, от которого нередко возникали смуты и мятежи, Пушкин послал тому же самому Бенкендорфу стихотворение, в котором говорит, что только раб иль льстец может внушать государю, что „просвещенья плод — разврат и некий дух мятежный; подобные наветы на просвещенье лишь горе на царя накличет“. Стихотворение Пушкина „Друзьям“ может служить до некоторой степени как бы объяснением к Записке о воспитании“.<sup>1</sup>

Этим правильным по существу соображениям придано однако непомерно суживающее их толкование. То, что в приведенных выше строфах имеется в виду прежде всего Бенкендорф, не может подлежать никакому сомнению. Об этом свидетельствует помимо совпадающих мыслей также и сходная по своему существу фразеология. В своем письме Бенкендорф критикует „принятое“ Пушкиным „правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству“, доказывая, что „нравственность нужно предпочесть просвещению, неопытному, безнравственному и бесполезному“.

<sup>1</sup> М. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II, СПб., 1839, стр. 236—237.

Пушкин лишь заострил эту мысль, когда он вложил в уста воображаемого „льстеца“ ненависть к науке.

Он скажет: просвещения плод —  
Разврат и некий дух мятежный!

В этих строках не было ничего, под чем не решился бы подписаться Бенкендорф, которого Пушкин явно изображал здесь в образе придворного „льстеца“.

Но нельзя, разумеется, считать, что Пушкин борется здесь с одним только Бенкендорфом или даже с одной только придворно-бюрократической бенкендорфовщиной. „Вспомним, что формула Бенкендорфа, дышащая ненавистью к безнравственному просвещению, была лишь точным переводом того, что поручил шефу жандармов передать Николаю I. Правда, Пушкин этого отзыва царя не читал; но едва ли он мог сомневаться в том, что Бенкендорф точно передает ему все, что „его величество при сем заметить изволил“: в чем-чем, а в бюрократической исполнительности Бенкендорфа Пушкин не сомневался. Но если допустить, что Пушкин знал (и не мог не знать) о резолюции Николая, то заключительные строфы послания „Друзьям“ приобретают тем самым особую значительность, которую либеральная историография совершенно напрасно игнорировала.<sup>1</sup> В своем послании „К друзьям“ Пушкин борется отнюдь не с одним только Бенкендорфом, но и с его прямым вдохновителем. Надев на себя маску защитника „царских прав“ перед „льстецом“, который своим мракобесием „накличет“ на царя „горе“, Пушкин саркастически бичевал тех, кто понимал просвещение исключительно в границах „благонамеренности“. Этих людей в 20-х годах прошлого века возглавлял сам Николай I.

## 9

Не подлежит никакому сомнению, что в Записке о народном воспитании был взят новый курс, резко отличный от того, что уже в те годы осуществлялось крепостнической монархией Николая I. Буквально по всем пунктам своей Записки Пушкин пошел вразрез с внутренней политикой царского правительства. Самодержавие деятельно стремилось к уничтожению каких-либо культурных связей с опасным и мятежным Западом, самодержавие взяло решительный курс на контроль над частным воспитанием, на насыщение народного воспитания принципами милитаризма:

Там будут лишь учить по нашему: раз, два!  
А книги сохранят так: для больших okazji.

Это знаменитое изречение полковника Скалозуба с полным основанием мог бы повторить и сам верховный воспитатель российского юношества.

Пушкин резко противостоит этому официальному курсу. Он критикует воспитательную политику, основанную на формально проводимых

<sup>1</sup> Сухомлинов здесь не одинок: В. Стоюнин считал, например, что Бенкендорф, представлявший взгляд всего чиновно-канцелярского общества, сделал положение Пушкина ложным. Либерально буржуазный пушкиноведец в своем стремлении „извинить“ царя договорился до утве, ждения, что у Николая I вообще не было желания поставить Пушкина под скрытый надзор (см. его книгу „А. С. Пушкин“, стр. 282—285).

экзаменах и культе чинов и титулов. Он клеймит развращенные нравы кадетских корпусов и домашнее воспитание дворянской молодежи, при котором ребенок видит одни только примеры „гнусного рабства“. Он решительно защищает ланкастерские школы взаимного обучения, те самые, на которые так жаловалась в гостинной Фамусова важная московская барыня Хлестова:

И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних  
От пансионеров, школ, лицеев, как бишь их,  
Да от ланкарточных взаимных обучений.

Пушкин всемерно защищал, наконец, преподавание в училищах курсов государственного права, политической экономии по новейшей системе Сея и Сисмонди, статистики и истории, освобожденных от какого бы то ни было привкуса официального дидактизма.

Такова была программа Пушкина. Ее глубокое отличие от воззрений правительства, ее безусловная прогрессивность для своего времени несомненны.

Старое пушкиноведение злорадно подчеркивало „уступки“, которые Пушкин делал самодержавию. Уступки эти ничтожны и по существу ограничены самым фактом написания Записки. Нельзя однако ставить Пушкину в вину то, что действительно было его „бедой“: выполнение царского заказа являлось для только что возвращенного из ссылки поэта неперемненным и обязательным условием его „свободы“. Заказ был Пушкину неприятен, но он не отказался от его выполнения. Он предпочел оказать на Николая I давление самым содержанием своей Записки, органически вытекавшим из его подлинных и кровных убеждений. Природа этого документа определила границы его политических возможностей. Пушкин, разумеется, не преследовал своей Запиской каких-либо революционных целей. Он не мог написать в ней того, что год спустя было им произнесено в нелегальном послании к декабристам:

Оковы тяжкие падут,  
Темницы рухнут, и свобода  
Вас примет радостно у входа,  
И братья меч вам отдадут.

Эти стихи 1827 года полны сочувствия к делу декабристов и веры в победоносное восстание их „братьев“. Царю в таких выражениях писать было, разумеется, невозможно. Пушкин предпочел в легальной, внешне „благонамеренной“ форме высказать Николаю ряд таких истин, которые не могли не привести российского самодержца в состояние сильнейшего раздражения.

Не учитывающая всего этого либеральная критика дооктябрьской поры с пеной у рта кричала о том, что Записка о народном воспитании была актом политического ренегатства. „Замечательно, — писал, например, Н. О. Лернер, — что против последнего гнусного права (речь идет о праве розги и палки над солдатом. А. Ц.) Пушкин не обмолвился ни словом. Едва ли он сделал это потому, что должен был говорить только об учебном воспитании; в Записке он говорит смело и о других предметах: „чины сделались страстью русского народа“, „в России все продажно“. Просто Пушкин слишком приучил к обычным картинам

русского военного быта свой глаз, который когда-то с отвращением глядел на них: прошли те годы, когда он хвалил Алексея и Михаила Орловых за гуманное обращение с солдатами“ (Н. О. Лернер. Пушкин в Москве после ссылки, статья в III томе сочинений Пушкина, изд. Брокгауз и Эфрон, стр. 339). Подобные выводы совершенно произвольны и базируются на прямой клевете. У нас нет никаких оснований полагать, что Пушкин „приучил свой глаз“ к картинам расправы с солдатам, столь типичным для военного быта николаевской эпохи. Не говорил же он об этом именно потому, что это не касалось предмета темы его Записки так непосредственно, как касались ее вопросы об уничтожении чинов, об отмене экзаменов и т. п. Возражать перед лицом Николая I против шпицрутенов значило бы, конечно, лезть на рожон. Это было бы опасно для Пушкина и заранее обречено на неуспех — Николай I о шпицрутенах Пушкина не спрашивал, его мнением ни в какой мере не интересовался и отказываться от этого института не собирался. Насквозь лицемерные упреки в „измене“, которые адресовались Пушкину, базировались на намеренном игнорировании Н. О. Лернером тяжести той ситуации, в которой очутился поэт, и безусловно пристрастной оценке его политических убеждений.

Недалеко ушел от Н. О. Лернера и Н. К. Пиксанов. В статье „Дворянская реакция на декабризм“, помещенной во втором сборнике „Звеньев“, этот исследователь вменил Пушкину в вину не более не менее как заботу об учреждении „секретной полиции“, прямо связывая Пушкина в этом плане с вдохновителями „дворянской охраны“. Обвинение это настолько тяжело и настолько несправедливо, что мы вынуждены воспроизвести здесь целиком соответствующий пассаж Записки:

„Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большего присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении. Для сего нужна полиция, составленная из лучших воспитанников; доносы других должны быть оставлены без исследования и даже подвергаться наказанию; через сию полицию должны будут доходить и жалобы до начальства. Должно обратить строгое внимание на рукописи, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную рукопись положить тяжчайшее наказание; за возмутительное — исключение из училища, но без дальнейшего гонения по службе: наказывать юношу или взрослого за вину отрока есть дело ужасное и, к несчастью, слишком у нас обыкновенное. Уничтожение телесных наказаний необходимо“ и т. д. (30, 31).

Таково это наиболее „одиозное“ место Записки о народном воспитании. Говоря об испорченности нравов, Пушкин, как мы уже отметили, имел в виду педерастию. Для искоренения этого „гнусного порока“ Пушкин и предлагал „полицию, составленную из лучших воспитанников“. Словно предчувствуя клеветнические домыслы своих будущих критиков, Пушкин добавил, что „доносы других должны быть оставлены без исследования и даже подвергаться наказанию“. Борьба, которую Пушкин объявлял против обращающихся в кадетских корпусах „похабных рукописей“, ничем, разумеется, не может его опорочить. Что же касается до рукописей „возмутительных“, то-есть политических, то он



предлагал „исключение из училища, но без дальнейшего гонения по службе“. Последнее предложение, конечно, резко противоречило всему духу царской политики. Вспомним, например, что Полежаев за написание поэмы „Сашка“, изобилующей порнографическими подробностями, был Николаем I в 1826 году отдан в солдаты. „Наказывать юношу или взрослого человека за вину отрока есть дело ужасное и к несчастию слишком у нас обыкновенное“. Здесь Пушкин, несомненно, вспомнил поэта Баратынского, жизнь которого была исковеркана беспощадным наказанием за его отроческий проступок (Баратынский, как известно, был исключен из пажеского корпуса за кражу золотой табакерки). Пушкин мог иметь здесь в виду и самого себя: мы знаем, что в Михайловское он был переведен за одобрительный отзыв об атеизме, высказанный им в частном и перехваченном властями письме к князю Вяземскому. Гуманная защита Пушкиным уличенной в „проступках“ либерально-дворянской молодежи находилась в самом резком противоречии с карательной политикой николаевского правительства. Что касается до указания Пушкина на необходимость уничтожения телесных наказаний, то они никогда не могли быть приняты царем, в основе всей „воспитательной“ политики которого прочно лежали розга и шпицрутены.

Суровые обвинения, предъявленные Пушкину некоторыми исследователями, таким образом, рассыпаются в прах. То, в чем Н. К. Пиксанов, например, склонен был видеть чуть ли не проповедь „дворянской охраны“, на поверку оказывалось безусловно необходимой мерой внутреннего оздоровления очагов „гнусного разврата“, гордо именовавшихся „военно-учебными заведениями Российской империи“.

Ни Бенкендорф, ни сам Николай I не могли скрыть после прочтения Записки своего недоумения и недовольства. Это лучше всего доказывает то, что острое Записки Пушкина было обращено *против* официальной системы народного воспитания. Никакого „рenegатства“, никакой „измены“ своим прежним убеждениям у Пушкина не было, разумеется, и в помине.

Центральная мысль Записки, настойчивым лейтмотивом проходящая через весь текст ее, это, конечно, мысль о необходимости „просвещения“. Для Пушкина эта мысль была одной из самых заветных и любимых. Мы могли бы привести здесь немало стихотворений, в которых эта исконная пушкинская тема звучала бы со всей настойчивостью и решительностью:

... Учуся в истине блаженство находить,  
Свободною душой закон богоговорить,  
*Роптанью не внимать толпы непросвещенной...*  
(„Деревня“, 1819)

*И над отечеством свободы просвещенной*  
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?  
(Там же)

Но цензор гражданин, и сан его священный:  
*Он должен ум иметь прямой и просвещенный...*  
(„Послание к цензору“, 1822)

Самодержавною рукой  
*Он смело сеял просвещение...*  
(„Стансы“, 1827)

и т. д.

Вторая важная тема Записки о народном воспитании — о подавлении домашнего воспитания. Обращение к творческому наследию поэта убеждает нас в том, что Пушкин не раз критиковал дворянское воспитание. Вспомним „убогого француза“ monsieur L'Abbé, воспитателя молодого Онегина, который

Учил его всему шутя,  
Не докучал моралью строгой,  
Слегка за шалости бранил  
И в Летний сад гулять водил.

Вспомним еще более непрезентабельную фигуру воспитателя молодого Гринева, мосье Бопрé, „которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла и который в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outschitel“ („Капитанская дочка“).

Ни в одном пункте своей Записки Пушкин не соглашался с тем, что в его пору осуществлялось Николаем I. Благонамеренные векселя, которые он, казалось бы, выдавал правительству, тотчас обесценивались всевозможными оговорками. Субъективно Записка означала попытку Пушкина найти для себя место в новых отношениях; объективно она защищала то самое „европейское“ начало в воспитании, которое деятельно проповедывали декабристы. Не боясь преувеличений, можно сказать, что под оценкой кадетских корпусов, ланкастерских школ, домашнего воспитания, чиновничества и прочего подписались бы все без исключения декабристские друзья Пушкина.

Но то, что декабристы предлагали до событий на Сенатской площади, Пушкин выдвигал в более позднюю пору, и в этом заключался источник его слабости. Предлагать подобные меры вождю победившей диктатуры крепостников значило, разумеется, заранее обречь себя на поражение. Пушкин не был настолько простодушным, чтобы поверить в добрые намерения Николая I. Считать его маркизом Позой, читающим проповедь реакционному королю Филиппу II, разумеется, невозможно. Но Записка была все же заказана, и упустить случая „сделать доброе дело“ не приходилось. Пушкин написал то, в истинности чего он был уверен, и написал это, сохранив все свое достоинство и независимость воззрений.

Шаг Пушкина не удовлетворил монарха, для которого приход поэта в спасительное лоно самодержавной России бесспорно явился бы желанным в его политической игре козырем. Попытка договориться с носителем верховной власти в стране на умеренно-европейской программе реформы народного воспитания окончилась очевидным провалом.

Записка Пушкина открыла собою серию длительных испытаний, которым поэт не удовлетворял и которые заставили Бенкендорфа и Николая I признать уже после трагической гибели поэта, что в нем оплакивается не столько прошедшее, сколько будущее.

Записка о народном воспитании Пушкина, которую исследователи так долго считали „изменой“ гениальнейшего из русских писателей своим прежним убеждениям, должна отныне изучаться как начало его длительной идеологической борьбы с самодержавием Николая I.

# ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕНИК

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
Ж У Р Н А Л

Я Н В А Р Ь • 1 9 3 7

1

ЛЕНИНГРАД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“